

Анализ выхода в социокультурное пространство становится все более актуальным



А.И. Неклесса

Уважаемые коллеги, завершая дискуссию, постараюсь быть кратким (учитывая, что работаем мы уже около трех часов). Поэтому по ряду позиций выскажусь, по возможности, тезисно, уделив основное внимание вопросу о партикулярности российской власти и, все-таки, тому, что на мой взгляд не получило достаточного отражения в сегодняшней дискуссии, — универсальной генетике экстралегальных политических кодов и, главное, соответствующим метаморфозам в современном и постсовременном мире.

Думаю, нам всем следует поблагодарить А.И. Фурсова, задавшего целью вскрыть корни и определить характерные особенности столь непростого явления в политическом универсуме, каким является феномен российской власти. Специфичность этой власти очевидна, и данному факту можно найти много объяснений: от нахождения страны в зоне не слишком продуктивного, «экстремального» земледелия (и связанных с этим следствий), на транзитной территории торговых маршрутов и военных путей — до пограничного положения российского социума между европейским и азиатскими способами производства и бытия. Возможно, это проблема пропорций, однако ключевой вопрос остается: насколько данная специфика партикулярна? Иначе говоря, требуется ли для описания рассматриваемого феномена использование особого категориального аппарата? Либо следует идти проторенным путем, исследуя его специфику в контексте проти-

воборства традиционализма и модернизации, естественно, с поправкой на социальное и культурное своеобразие?

Еще один многозначительный вопрос уже прозвучал на сегодняшнем заседании: является ли различие формул «русская власть» и «российская власть» проблемой лексической или семантической? Действительно, в историческом опыте Руси мы имеем разные типы политического/социокультурного обустройства, версии русской власти с весьма различающейся феноменологией: вечевой — в Северо-Западной, Новгородской Руси; феодальной — в Руси Юго-Западной (Малой, Червонной и Белой); абсолютистской, самодержавной — в Северо-Восточной Руси (Московии и восточных владениях), ставшей исторической основой Великороссии и России. Можно вспомнить также более экзотичные политические образования, возникавшие и существовавшие на данной территории, — к примеру, феномен казачества.

Провести границу критического социокультурного разлома можно, отслеживая рубеж пространств городской культуры (условно определяемой как магдебургская) и ареалов, входивших в административно-политическую, податную систему Белой («Золотой») и Синей Орды. Думаю, корректное, полноценное исследование этого вопроса вполне востребовано политической ситуацией, складывающейся на постсоветском, постимперском пространстве.

Не скрою, несколько смутил меня ответ докладчика на вопрос, косвенно затрагивающий данную проблему и одновременно связанный с прогностической силой, инструментальными возможностями предложенной модели. Смутило даже не то, что не было дано ответа, а то, что (как было заявлено) с изложенных позиций в принципе невозможно рассматривать, прогнозировать будущее отношений России, Украины и Белоруссии, поскольку ответ на вопрос лежит не в плоскости прочтения системы русской власти, но в сумме внешних факторов, определяющих современную ситуацию. Все-таки хотелось бы исследовать становление феномена

русской власти не только как своего рода «вещь в себе», но покуситься на опознание ее современных и будущих метаморфоз, аппликаций, в том числе применительно к возникающим в политике ситуациям, делая практические выводы.

В рассматриваемом контексте затрагивается, скажем, весьма серьезная, актуальная проблема — различие статуса человека как гражданина и как подданного в базовых («идеальных») социокультурных моделях: доминантно открытой, полифоничной и доминантно закрытой, иерархичной структуре социума. Вопрос, к какой из них тяготеет историческая и современная Россия, равно как и о степени партикулярности ее опыта политического и социального обустройства, имеет важные практические следствия. Особенно, если учитывать ситуацию социально-политического распыления и фактор «возрастания роли личности в постсовременной истории».

Логика становления статуса *подданного* в азиатских («деспотических», «абсолютистских») социокультурных моделях вроде бы ясна. Генетика *гражданина* в ареалах, связанных с феноменом городской культуры (включая некоторые ее модификации), с позиций сегодняшнего дня может быть описана как взлет и падение третьего сословия. Третье сословие, в сущности, определило структуру Новой истории, став ее поводом. При этом изменения в состоянии человеческого общежития имели следствием появление идей не только политического, но и социального равенства (с их противоречивым идеалом усиления и отмирания государства). А эксперименты по реорганизации мироустройства сформировали страту профессиональных революционеров и политиков; развитие же и усложнение экономического космоса также повышало роль профессиональных организаторов, но уже в данной сфере, создавая тем самым предпосылки для «революции управляющих».

Подобные метаморфозы в совокупности вели к трактовке политической власти как *социальной технологии*. На этом этапе происходит сближение сугубо административных схем

подчинения («азиатских») с моделями корпоративными («западными») — сливаясь, в конечном счете, в специфичной феноменологии *номенклатурны*, которая выступает в качестве своего рода «надзорной» и «надзаконной» власти, формулируя таким образом прописи «неправового государства». И в результате, в человеческом сообществе очерчивается контур очередного гегемона — нового класса, этого «четвертого сословия», идущего на смену прежним историческим лидерам.

Корпорация (причем во всем диапазоне значений данного термина) в Новейшей истории выступает как своеобразная форма организации общества и власти, выстраивающая собственную версию мироустройства и по-своему опровергающая этатизм в его прежней версии, выдвигая при этом оригинальный политический проект.

XX в. — время актуализации «нового класса», чей генезис был предсказан еще в полемике Бакунина с Марксом, а корни прослеживаются и раньше, во времена Французской революции — этой арены «судейских и литераторов», рождавшей проекты разнообразных «директорий». Член группы Бабефа — *Филиппо Микеле Буонарроти*, кажется, первый (если, конечно, не учитывать всю предшествующую умозрительную традицию политического конструирования от Платона до Кампанеллы) провозгласил идею и указал на проблему прихода нового класса (*«единственного сведущего в принципах и постулатах социальных технологий, в законах и управлении»*) — т. е. будущей административной, управленческой, партийной номенклатуры¹.

Российский опыт — в форме опыта «партийной государственности» здесь очевиден. Но имело ли место номенклатурное государство за пределами России? Конечно, имело. Это по-своему глобальный феномен (совпавший, кстати, по вре-

¹ Подробнее данный вопрос рассмотрен в статьях: Неклесса А.И. Новый амбициозный класс // Политический класс. М., 2007, №9; Он же. Новый амбициозный план. Проекция и чертежи новой сборки мира // Политический класс. М., 2008, №1. (см. также <http://www.intelros.ru/page/10/>)

мени с окончанием экстенсивного, географического освоения планеты), вбивавший разные версии: итальянский фашизм, германский национал-социализм, ряд других порождений идеи «национального социализма», причем произраставшего не только на европейской почве. Это китайский, корейский, вьетнамский опыт, весь суммарный эксперимент в иных странах и весях. Можно упомянуть даже определенные тенденции в странах англо-саксонской («локковской») политической культуры, наподобие модели «Нового курса» в США (особенно в спланированной, но не реализованной вследствие ряда судебных решений его форме). И кое-что иное...

Все эти тенденции вели к реализации той или иной версии административного, экстраправового, номенклатурного государства, к новому типу олигархии («корпорации управляющих»), кризису демократии и публичной власти. Конечно, со своими культурными особенностями и с большей или меньшей степенью формальной регламентации.

Между тем, развитие номенклатурного государства (государства-корпорации), оплодотворенного дарами революции менеджеров, всем технологическим опытом эпохи Модерна, по мере технического и технологического развития общества, возрастания роли интеллектуального и человеческого капитала, значения креативности и других нематериальных активов, испытывает все более серьезные перегрузки. Равно как и при повсеместном утверждении открытости мира, становлении его глобальной просторности, (которая, однако же, имеет определенные пределы), что, в конечном счете, приводит к перерастанию национальным государством самого себя как способа социального управления. (И может являться еще одной версией «отмирания государства».)

Привычная государственная конструкция при этом все-таки сохраняется, но вот ее полнота сужается, и ряд функций узурпируются корпорацией управляющих (выступающих, к примеру, в форме того же, упомянутого ранее партийного

аппарата). А национальное государство все чаще выступает в роли своеобразного практикабля, публичного рупора, регулятора неполитических процессов и носителя социальных обременений, утрачивая таким образом былую актуальность. Единая номенклатурная вертикаль при этом размывается и — особенно в случае той или иной формы симбиоза с масштабными экономическими корпорациями — замещается олигополией «кланов», активно осваивающих открывающиеся пространства властного социального действия, порождая новую политическую генерацию — сумму «корпораций-государств».

Эти протосуверены и амбициозные игроки в распахнутой, транснациональной размерности нового мира, будучи свободными от прежних социальных обременений, используют конструкции национальной государственности и ее прежнее достояние в качестве стартового капитала, своеобразного трамплина для прыжка в новые миры... (И уж совсем в скобках упомяну о возможностях, открывающихся перед «надзорной властью» в теократической государственности, сославшись, скажем, на некоторые аспекты опыта «власти аятолл» в современном шиитском Иране).

Вот тот контекст, в котором существовала и продолжает существовать современная модификация российской формулы власти. Поэтому, завершая выступление, еще раз сделаю акцент на необходимости рассмотрения феномена во всей его полноте, не ограничиваясь историей вопроса, но пристально вглядываясь в актуальные проявления и задумываясь над теми формами, которые русская власть и российская государственность принимают сегодня и обретут в будущем.

Мне неоднократно приходилось писать о мутациях в данной сфере и более конкретно — о выстраивании в России-РФ двухъярусной конструкции, состоящей из:

- а) олигархической государственности амбициозных корпоративных образований, сведенных в социально-по-

литическую связность — своего рода симбиотический архипелаг в просторности транснационального земноводья, предоставляющий его руководителям право на присутствие в новом мире;

- б) национальной государственности, реализующей общенациональные и силовые полномочия власти, обеспечивая функционирование привычных, но утрачивающих актуальность элементов государственного устройства: ветшающих институтов публичной политики и увядающих ветвей власти.

Как все это соотносится с прежней моделью исторического конфликта, в которой состязаются модернизм и традиционализм? Думаю, здесь корень проблемы. Но сама проблема имеет, однако, иной облик. Русская история может прочитываться как состязание традиционализма и модернизма в границах Российского государства. Однако все более актуальным становится анализ выхода аморфных, но энергичных постмодернистских политий за пределы прежде очерченных политических и географических границ, в социокультурное пространство, которое определяется нами сегодня как постсовременность. Завтра мы, возможно, найдем для этой эпохи более прозрачные имена.